

## Н. Долиннина

# ИЗ ДНЕВНИКА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

**20 октября**

Не знаю, могла ли бы я жить без школы. Наверное, нет. Бывает так — устанешь, изведёшься, всё не клеится, в классе беспорядок, дома — не лучше, плетёшься с работы и думаешь — за что я выбрала себе такое наказание? И решаешь: уйду. И знаешь — никуда нельзя уйти. Потому что жить без всего этого — без усталости, огорчений, шума, без детских глаз, без волнения — нельзя, невозможно.

Я многое люблю в школе: и первое сентября, и экзамены, и волнение перед вечерами — общее волнение с ребятами, — и тишину контрольных, и грохот перемен... И уроки я тоже люблю.

Но лучше всего — часы, когда кончились занятия, а в школе идёт жизнь. Бегают девочки с цветами — поливают, моют. Мальчишки куда-то идут с молотками, перетаскивают скамейки. Где-то играют на рояле, где-то моют парты и смеются...

А я сижу с ребятами в библиотеке и слушаю, какую программу они предлагают для праздничного вечера, и предлагаю своё, и мы уже видим, видим тот день, когда станем украшать классы и зал — не выпавшиеся, взволнованные... и счастливые.

И усталость проходит, и голова не болит, и верится, что с классом я справлюсь, и домой уже не тянет — так бы и не уходила из школы!

**23 октября**

Ну, что ж, вот я и начала великую битву с мещанством и, пожалуй, потерпела поражение. Почему это произошло? Может, не нужно было начинать этот разговор в классе и стоило дожидаться какой-то более интимной обстановки? Сама не понимаю, в чём дело, знаю только: того разговора, на который я рассчитывала, не получилось.

В общем, было так: я говорила а они молчали. Для формального отчёта, конечно, всё в порядке: «проведена этическая беседа, класс внимательно выслушал воспитателя...».

Но я-то знаю: если бы мои слова задели ребят за живое, они не могли бы молчать, в классе стоял бы шум; может быть, говорилось бы и лишнее, порой несуразное, но не было бы этого тягостного, внимательного, вежливого молчания...

А я сказала обо всём: об истории с Ёлкиным в столовой, о заштопанных чулках Гали Вороновой, об «обожании» артистов, о бесконечных «тряпичных» разговорах, о чёлках, уныло нависших над глазами девочек...

Ох, уж эти челки! В прошлом году чёлочное безумие охватило восьмой (нынешний девятый) класс немножко позднее — перед весной. Но в том классе девочки и старше, и во всех отношениях взрослее моих. А мои... началось всё, разумеется, с Гали Гончаровой и Люси Некрасовой. Мамы обеих девочек сокрушались, разводили руками, а Люсины мама даже сообщила мне, что, увидев в первый раз чёлку дочери, она «потеряла сознание». Но заставить девочек убрать челки мамы не смогли. Я сначала решила примириться — ну, хочется им себя уродовать — пусть уродуют, поймут когда-нибудь!

А примирилась я напрасно. Это обнаружилось в тот самый день, когда я увидела челки над совсем ещё детскими лицами Лены Ерьсько и Кати Ратнер, а потом пошло... Каждый день появлялась ещё одна девочка с выстриженным чубом. Наконец, когда я принесла в класс пачку заколок и пошла по рядам убирать чубы, произошло нечто, удивившее даже наших мальчишек: на последней парте заволновалась Света Медведева, вытащила зеркальце, какие-то новомодные зажимы для волос и стала спешно подбирать волосьяной «навес» надо лбом.

— И эта выстригла! — охнул Дима Трощенко. — Ну и девчонки!

О чёлочном поветрии я вспомнила на собрании. На минуту ребята оживились.

— Вот именно, — подал реплику Ёлкич. — От них всё мещанство и есть: то челки выстригут, то домохозяйкой обзовут...

И снова — молчание. А смотрят внимательно, и глаза у всех серьёзные, думающие...

Где же я ошиблась, почему не сумела заставить их говорить?

### 25 октября

Разговор с Галей Вороновой:

— Нина Александровна, вы как считаете, мы ещё дети или уже взрослые?

— Я думаю, что скорее взрослые...

— Вот и мне тоже кажется. Но только... почему-то некоторые люди этого не хотят признавать.

— Какие некоторые люди?

Галя мнется, молчит, потом решается:

— Ну, например, моя мама. Вы подумайте только: летом ей на работе давали путёвку для меня в «Артек». Соцстраховскую, со скидкой. А она отказалась.

— Почему же?

— Видите ли, «как это Галя поедет одна через всю страну?». Ну подумайте, ведь туда совсем маленькие ребята ездят — и даже из других стран. А мама...

Про путёвку в «Артек» Галя рассказывает мне в четвёртый раз. И с каждым разом усиливаются в её рассказе нотки осуждения матери. Я чувствую это — и я бессильна бороться, потому что в душе согласна с Галей. Но всё-таки говорю:

— Как ты не понимаешь! Ты у мамы одна. Естественно, что она за тебя беспокоится...

— Нет, нет, — живо откликается Галя. — Так нельзя рассуждать. Я тоже раньше — ещё год назад — с ума сходила, если мама задерживалась на работе или уходила вечером куда-нибудь. А потом поняла: так хуже получается и для меня, и для неё. Почему же она не может этого понять?

Почему, действительно?

А на следующей перемене пришла мать Савича. Он стал лучше в последнее время: не прогуливает, активен на уроках и на переменах не буйствует. Маму его я вызываю каждую неделю, и всегда она находит оправдания для своего Саши: он и нервный, и поддаётся влиянию, и «неустойчивый по характеру» — как будто это не её вина!

А сегодня разговор такой:

— Здравствуйте, Нина Александровна, спасибо вам большое!

— За что?!

— Как за что? Такая чудная девочка! Саша прямо переродился. Даже дворники его хвалят...

Я решительно ничего не понимала.

— Почему его хвалят дворники? Какая девочка?

— Как это какая? Ваша девочка — Лиля Рудина. Чёренькая такая. Председатель совета отряда. Она же каждый день к нам ходит и с Сашей занимается. Когда одна, а когда с этой... с Вороновой.

Я даже не знала, огорчаться или радоваться. Лилия Рудина, оказывается, занимается с Савичем, а я, классная руководительница, об этом ничего не знаю! Но, с другой стороны, молодцы девочки — сами поняли, кому всего нужнее помощь!

После уроков я подозвала Лилию.

— Что ж ты мне не сказала, что занимаешься с Савичем?

— Ой, Нина Александровна, вы не сердитесь — мы считали, так лучше будет...

— Почему? И кто это — мы?

— Мы — все девочки. То есть, конечно, не все, но многие. Мы надеялись, что вы похвалите Сашу. А если бы вы знали, что мы помогаем, то нас бы похвалили. А знаете, как Сашке нужна похвала!

Я шла домой и думала: вот она, педагогика, и вот первая настоящая радость, принесённая мне моим восьмым В. Первая, но ведь не последняя!

### 30 октября

Только всё стало налаживаться — и я опять совсем не вижу ребят, не знаю даже, что у них происходит. Уже четвёртый день мой Митя в больнице — и я в сущности живу там. К Сереже и Маше каждый вечер приходит кто-нибудь из моих бывших учеников — кормят их, просматривают Серёжкины уроки, следит, чтобы вовремя легли спать. Интересно, что бы я делала, если бы работала не в школе?

Вот так и идут дни. А мне бы надо быть сейчас с ребятами: сорокалетие комсомола, конец четверти... Я, конечно, хожу в школу, но только даю уроки. некогда поговорить с ребятами: в перемены названиваю в больницу, а после уроков бегу без оглядки.

Вчера, войдя в класс минут за десять до начала уроков, я увидела: две парты поставлены одна на другую, и не кто иной, как Галя Гончарова прибивает к стене огромный фотомонтаж «Пять орденов комсомола». А я ведь ничего не сказала им о монтаже — не успела. Но самое поразительное: возле неё — Лёня Ёлкин. Подавая гвозди, он говорил, по обыкновению, с насмешкой:

— Опять криво! Что у тебя — глаз нету? А ещё в художественной школе учишься!

Галя беззлобно отшучивалась. Эта картина мирного сосуществования Гончаровой и Ёлкина обрадовала меня больше всего.

— Что же ты сам не встанешь на парты, а снизу гвозди подаёшь? — спросила я.

Лёня смутился:

— Так она же, смотрите, какая длинная...

Ах, вот оно что: Лёне роста не хватает, а я невольно и так некстати об этом напомнила!

### 3 ноября

Мите лучше — и это главное. А ребята знают, что я всё время торчу в больнице. Когда в субботу я пришла на общешкольный вечер, посвящённый сорокалетию комсомола, Васька Бульба встретил меня ворчливым заявлением:

— Ну чего вы пришли? Что мы — маленькие? Или нарушители какие...

Вечер был хорош. Устроили его наши молоденькие учительницы-комсомолки и десятый класс. Было торжественно и тепло — вообще необычно.

В конце вечера ко мне подошла Люся Некрасова.

— Я хочу вам сказать... В общем... — она покраснела, но всё-таки договорила. — Это я тогда начала смеяться... насчёт Галкиных заштопанных чулок. А теперь поняла, честное слово! Вот увидите...

И убежала.

Может, они действительно начинают что-то понимать, мои ребята?

### 4 ноября

Событий масса. Не успеваю записывать. Мите всё ещё в больнице, но уже, в сущности, здоров. Дома я почти не бываю: из школы к Мите и обратно в школу — так каждый день. Сегодня

прихожу в класс: Вера Лернер и Лена Ерьско сидят на подоконнике, склонившись над какой-то тетрадкой.

— Что это вы делаете?

Вера смущается. Ерьско невозмутимо протягивает мне тетрадку.

— Это Аллы Тухватулиной песенник, — объясняет она. — Вот посмотрите.

— Нина Александровна, — волнуется Вера Лернер, — не смотрите лучше. Почти у всех такие тетрадки есть, только не надо их читать — там разная ерунда написана...

— Да я и не собираюсь читать чужие тетради без разрешения.

Веру, кажется, удивляет такая постановка вопроса. Она задумывается на минуту и — решается. Она вынимает из портфеля тетрадку и говорит:

— Тогда посмотрите мою — вот она!

Ну и ну! Винегрет какой-то! Дикая смесь хороших песен с невероятной пошлостью, неизвестно откуда выкопанной. По радио этого не передают, в концерты её, разумеется, не включают, в школе не учат — а вот, пожалуйста, в тетрадке она аккуратнейшим образом переписана (конечно, с ошибками), окружена цветочками, зарисована цветными карандашами...

Словом, после уроков я велю классу остаться.

— Достаньте свои тетрадки для песен.

Никто из ребят не удивляется. Удивляюсь я: тетрадки достают все девочки, кроме Светы Медведевой. Достает и... Савич.

— И ты, Брут? — спрашивает басом Дима Троценко.

— Да нет, — отмахивается Савич, — я не песни. У меня арии из опер!

Он протягивает тетрадку мне, но вокруг мигом собирается пол-класса. Да, у Саши дело поставлено иначе: нотная тетрадь — ив ней, как полагаются, ноты с текстом: ария Сусанина, ария Гремина, ария Филиппа из «Дон-Карлоса»... Почему всё-таки пошлость легче пристаёт к девочкам, чем к мальчикам?

— А чего Димка задаётся? — восклицает вдруг Галя Воронова. — У него тоже тетрадка есть.

— И неправда, — обижается Дима Троценко. — Никаких песен у меня нет. А есть стихи!

Он тоже извлекает тетрадь и протягивает мне. Удивительное дело: Пушкин, Некрасов,

Тютчев, Блок... А вот и современные поэты: последняя глава «Теркина», два стихотворения Роберта Рождественского, отрывок из поэмы Доризо... Но больше всего, конечно, Лермонтова — это любимый поэт молодых, всем известно.

— Зачем же ты Пушкина и Лермонтова выписываешь? — удивляется Лена Ересько. — Их в книжке можно прочитать!

— Так лучше запомнишь, — объясняет Дима, краснея. — И потом, всё вместе собрано...

Вот почему, оказывается, ему так легко удавалась роль Чацкого, когда мы читали в лицах «Горе от ума»!

Наконец все усаживаются, и я говорю:

— Так вот, раз вас интересуют песни, давайте запишем слова хороших песен, какие вы сами выберете, а в следующий раз попросим Сашу Савича заняться с нами и музыкой. С чего начнём?

Поднимается шум.

— Замолчите! — кричит Виталий Добриков, до сих пор молча взиравший на всю эту сцену. — Начать надо с «Интернационала», а то стыдно было на вечер: два куплета спели, а дальше никто слов не знает.

Как будто он знал слова, а все остальные не знали! Но класс прощает Виталию его обычную заносчивость.

— Правильно! — говорят ребята. — Давайте «Интернационал» запишем.

И мы записываем в эти самые тетрадошки слова «Интернационала», «Варшавянки», «Каховки», «Орлёнка»...

— Ещё! — просит Лена Ересько. — Пожалуйста, ещё одну!

Но уже поздно.

— Потом будет ещё, — говорю я и предлагаю идти по домам.

— Нина Александровна, — спрашивает вдруг Ёлкин. — А я открытки собираю. Это не мешанство?

— Какие открытки?

— Во! — Ёлкин с готовностью открывает портфель. Ребята толпятся вокруг него. А он вываливает на парту гору репродукций — здесь Рубенс и Лактионов, Сикстинская мадонна и «Отдых после боя», Репин, Суриков, Левитан, Ренуар и Федотов, даже Андрей Рублев...

— Ну-у... — тянет Света Медведева, — так неинтересно. Надо всё это распределить по стра-

нам и по времени, а потом вставить в альбомы. Я так делаю.

— И давно ты собираешь открытки? — спрашиваю я у Ёлкина.

— Ну, не очень. Месяц, наверное...

— А я давно, — перебивает Света. — Раньше без разбора собирала: любые. А теперь альбомы сделала и распределила как следует.

И это — ещё одна радость, доставленная мне классом.

### 5 ноября

Сейчас пришла с поклассного совещания. Устала до того, что даже в больницу не поехала — отправила Сережку с передачей. Сережа вернулся очень гордый: его пустили к отцу, и он принёс мне записку. Митя, конечно, понял, в чём дело. «Наверное, в школе неприятности, поэтому ты и не пришла», — написал он.

Да, неприятности. А в чём, собственно, дело, — даже трудно объяснить.

Ну, вот, поклассное совещание, «малый подсчет», как называет его Ираида Фёдоровна Лавровская, наш директор. Раньше у нас поклассные тянулись долго, но проходили живо и интересно. Собирались в просторном помещении учебной части, говорили не только об успеваемости и дисциплине, но и обо всём облике классов, об отдельных ребятах.

С тех пор, как директором стала Ираида Фёдоровна — вот уже третий год — мы собираемся у неё в кабинете. Там тесно и душно, долго не просидишь: совещания проходят быстро. Но того волнения за общее дело, которое было в прошлые годы, теперь не возникает.

Сегодня обсуждались итоги первой четверти по шестым — восьмым классам.

Я была занята с ребятами и пришла, когда совещание уже началось. Отчитывался руководитель шестого класса. Двое там много, дисциплина неважная. Учителя слушают отчёт молча, классные руководители заняты своим делом: просматривают журналы, ставят отметки в ведомости. Ираида Фёдоровна просит руководителя шестого класса рассказать о воспитательной работе. Тот честно выкладывает: политинформации проводились нерегулярно, этических бесед не было, культпоход удалось организовать только один...

— Вот видите, — говорит директор, — поэтому и дисциплина плохая, и успеваемость низкая.

Права она? В сущности, права. Каждый учитель наизусть знает эту истину, что «в дружном, сплочённом коллективе дети и учатся, и ведут себя лучше»...

И всё-таки в словах Ираиды Фёдоровны есть что-то фальшивое, формальное: как будто воспитательную работу можно измерить количеством культпоходов или стенгазет!

Я начинаю думать об этом и не слышу, что говорится на совещании. Меня толкают — это молоденькая учительница математики, которую все в школе называют Танюшей.

— Вернитесь на грешную землю, — шепчет она. — О чём вы мечтаете?

— Вы вчера отчитывались? — спрашиваю я.

— Да, у меня ведь пятый.

— Ну и как?

— Обыкновенно. Не ругали и не хвалили. У меня четыре двоечника — это ведь много...

Да, четыре двоечника — это много. Но мы все знаем, что Танюша заслуживает похвалы больше, чем кто-либо другой. Она работает всего четвёртый год, а сколько сил и души тратит на своих ребятшек, как умеет стать им другом, войти в их мир, разделить интересы детей и помочь, и направить, и отвлечь от дурного!

Тем временем дело доходит до восьмого «Б» — того самого, который в сентябре ездил вместе с моими в Пушкин. С тех пор я немножко познакомилась с этим классом: часто бываю на уроках литературы у Марины Сергеевны и вижу кое-что со стороны. Класс странный: там много умных, интересных ребят, но все они какие-то засушенные, боятся слово молвить, не умеют и не хотят самостоятельно мыслить. Марина Сергеевна мучается с ними. А ведь когда-то я работала в этом классе месяц или два — заменяла учителя. Они были тогда в пятом. Всё было иначе. Были живые, любопытные дети... Почему же так вышло? Только сейчас я вспоминаю: в учительской говорили, что восьмой «Б» портится и разваливается на глазах, что его не узнать...

Между тем классный руководитель восьмого «Б» бойко рапортует: неуспевающих два, отметку по поведению предлагаю снизить Кисловской Елене за прогулы и дерзость. Проведено

пять экскурсий, три культпохода, шесть этических бесед, выпущено четыре стенгазеты...

Я слушаю и... ничего не понимаю. Никаких экскурсий и культпоходов не проводилось там уже два года — это я знаю твёрдо. Стенгазеты, впрочем, выпускались — да, правильно, класс хорошо украшен. И беседы проводились, наверное... Но зачем же говорить о том, чего не было?

А Ираида Фёдоровна довольна.

— Вот как надо работать, — поучает она руководителя злополучного шестого класса. — Ну что ж, товарищи, замечаний, конечно, ни у кого нет?

— У меня есть, — возражает Марина Сергеевна. — Я преподаю в этом классе первый год, но недовольна его работой, хотя ребята там умные и мне нравятся. Я много говорила с ними: они никуда не ходят всем классом, у них нет коллектива, на воспитательных часах им читают лекции о правилах поведения, а им скучно, потому что точно такие лекции они слышали и в прошлом, и в позапрошлом году. Этические беседы, о которых говорила Анна Николаевна, проходят на уровне третьего класса: «Хорошо ли не выполнять общественные поручения?» — «Нет, нехорошо». — «Вот видите, а Сергеев не выполняет!»..

— Ну, знаете ли, — вдруг взрывается Анна Николаевна. — Такие замечания неуместны. У меня работа ведётся по плану, план утверждает администрация. Я сама знаю, что делать в своём классе. И как это мои никуда не ходят — вот же в Пушкин они с вами ездили! А что касается индивидуальных бесед...

— Товарищи, мы задерживаемся, — говорит директор. — Переходим к восьмому «В».

С моим восьмым «В» всё сходит благополучно — и зря. Я знаю: будь у меня в классе пять-шесть неуспевающих, и мне бы попало. Но их двое — Васька Бульба, так и не одолевший грамоты, и Саша Белов (он отстаёт по химии). Два — это «приличная цифра», — стало быть, по неумолимой логике нашего директора, воспитательная работа поставлена хорошо.

Совещание продолжается. Анна Николаевна дует на Марину Сергеевну и на учителя физкультуры, позволившего себе неодобрительную реплику о восьмом «Б».

А я смотрю на неё и не понимаю, откуда в этой молодой женщине столько уверенности

в своей непогрешимости, столько неуважения к товарищам и, главное, столько формализма? Я вспоминаю, как она говорит о своих учениках: не здесь, на собрании, а в учительской, в обыкновенных неофициальных разговорах: «Кисловская Елена, Иванов Александр, Петросян Мария»... Для неё не существует ни Лены, ни Саши, ни Маши, а только сочетание фамилии с полным именем — обязательно с полным и обязательно поставленным после фамилии!

Когда все расходятся, директор просит меня задержаться и спрашивает:

— Ну как? На принципиальном уровне прошло? Честно говоря, мне хочется ответить: «Да, на принципиальном» — и уйти. Но я пересиливаю себя:

— Нет. По-моему, вы зря хвалили Анну Николаевну. Она молодой учитель, ошибается от молодости, от неопытности, а вы заявляете, что у неё всё правильно, что так и надо работать. Разве это помощь? И я обязательно буду говорить о её классе на педсовете.

— Ничего, — заключает Ираида Фёдоровна умиротворяюще, — её здесь покритиковала Марина Сергеевна — и хватит.

Войдя в учительскую, я читаю приказ: объявить благодарность за хорошую работу учителям и воспитателям... Длинный список. Нахожу в нём себя, нахожу и Анну Николаевну. Танюши нет. Нет пятидесятилетней Ольги Петровны, делающей чудеса со своими первачками. Почему? Непонятно.

Я иду домой и думаю: ну, хорошо, пусть директор объявляет благодарность Анне Николаевне, — может, я ошибаюсь в ней. Но ведь то, что благодарность вынесена мне, тоже несправедливо. Почему, когда я сидела летом месяц в колхозе и работала в полном смысле слова двадцать четыре часа в сутки (потому что и спала здесь же, на нарах, вместе с ребятами, — и мои собственные дети спали здесь же), — почему за эту работу, заслужившую благодарность колхоза, никто из школы не похвалил ни меня, ни учительницу биологии, ни военрука, ни, главное, ребят? А сейчас, когда я сделала со своими учениками в десять раз меньше, чем Танюша с пятиклассниками, меня выделяют, а её нет?

Ответ один: потому что правильно оценить воспитательную работу невероятно трудно. И складывается эта работа в большей степени из того, чего не запишешь ни в какие планы,

о чём не упомянешь в отчётах, чего не расскажешь на педсовете: из разговоров с детьми, из ежедневного неусыпного и доброго внимания к ним, иногда из жеста, улыбки, из какого-то неожиданно возникающего чувства общности учителя и детей, из умения не жалеть своё время и свои силы...

Ничего этого нет в работе Анны Николаевны. Но формально, по отчёту, по «птичке», поставленной в плане, у неё всё благополучно.

Я бываю во многих школах и знаю: есть директора, умеющие видеть подлинную работу воспитателей и отличать её от мнимой. Да зачем далеко ходить: наш завуч тоже отлично знает цену и Анне Николаевне, и Танюше, и всем другим воспитателям. А Ираида Фёдоровна оценивает воспитательную работу формально. И это очень плохо, потому что в конечном итоге вредит детям.

## 6 ноября

Вот и кончилась четверть. Раздала я табели, пожелала своим ребятам хорошо встретить праздники и пошла в пустой дом. А Мите врачи разрешили сегодня встать и позвонить по телефону: не успела я войти, как раздался звонок. Я, конечно, хоть и собиралась говорить о другом, выложила всё про совещание и про свои мысли.

— А помнишь, — сказал Митя, — ты с прошлым классом часто устраивала вечера дома у кого-нибудь из ребят, с чаем, с играми... Почему теперь такого не делаешь?

Я так и знала, что он об этом спросит.

— Потому, — говорю я, — что о тех вечерах Ираида Фёдоровна сказала на педсовете, что они разлагают коллектив, а не сплывают его.

— Но ты-то знаешь, что это не так?

— Знаю.

— Ну так что же ты, честное слово! Я бы тебе не благодарность, а выговор объявил.

А ведь он прав... Во второй четверти обязательно устрою такой вечер!

...Класс Марины Сергеевны сегодня красил парты. Молодец она: ведь это очень правильно — теперь ребята не будут пачкать, раз сами красили! Я же не сообразила — и придётся ждать до конца декабря, чтобы покрасить перед каникулами, а то не высохнут.

Итак, четверть года позади. Ну что ж, надо работать дальше.